

## ОТРЕШЕННЫЕ ЛЮДИ

Роман\*

### Часть вторая

### ОКАЯННЫЙ ВАНЬКА

В тот год императрица Елизавета Петровна неожиданно для всех решила прервать обычный свой летний отдых в Царском Селе и велела собираться ехать в Москву, а оттуда в Троице-Сергиеву обитель на поклонение святым мощам Сергия Радонежского, всея земли русской чудотворца.

При ней осталась самая малая свита особенно близких ей людей. Графа Алексея Григорьевича Разумовского среди них не было, поскольку пребывал он в то время в Санкт-Петербурге, куда к нему совершенно неожиданно пожаловал земляк, шляхтич Яков Федорович Мирович, совсем недавно вернувшийся из сибирской ссылки в Тобольске, где у него и родился сын Василий, единственный из оставшихся в живых мальчиков их семьи. Хлопотать о его судьбе перед светлейшим графом и прибыл в столицу старый Мирович и вскоре с помощью Разумовского благополучно пристроил свое чадо кадетом в шляхетский гвардейский корпус. Осенью, на правах земляка графа, он был представлен и императрице.

Уже будучи в Троице-Сергиевой обители, императрица узнала, что в Москве начались беспорядки, связанные с участвовавшими в городе пожарами и частыми ночными грабежами. К ней в обитель был срочно вызван московский генерал-губернатор, сенатор Василий Яковлевич Левашов. Он побожился перед императрицей, что все воры и зачинщики непременно в то же утро будут изловлены и преданы суду. Но императрица, не особо поверив его заверениям, повелела командировать в старую столицу еще и воинскую команду во главе с генерал-майором и премьер-майором лейб-гвардии Преображенского полка Федором Ушаковым, который учредил особую комиссию для раскрытия причин производимых пожаров. А урон Москве, как оказалось, был нанесен немалый: сгорело живьем около ста человек, пострадали церкви Симеона Столпника, Покрова Богородицы, Николая Чудотворца на Ямах, Мартына Исповедника на Большой Алексеевской, Алексея Митрополита, Сергея Чудотворца на Рогожской заставе... Более двадцати пяти храмов пострадало в тех пожарах, и более тысячи жилых домов были подожжены неизвестными злоумышленниками.

Когда началось следствие, то в Сыскной Приказ стали приносить подметные письма, из которых явствовало, будто все эти пожары дело рук известного вора Ваньки Каина.

#### 1

Ванька, по отцу Осипов, а по прозвищу Каин, оказался немедленно изловленным и теперь сидел в Сыском Приказе совершенно впав в отчаяние, поскольку не видел никаких сколько-нибудь приемлемых средств к своему освобождению.

Из каких только переделок не приходилось ему выкручиваться: перепиливать решетки, открывать замки на цепях, а то и просто, подкупив караульных, сбегать из самых крепких острогов. Но на сей раз, судя по всему, влип он крепко. А вышло все из-за собственной дурости, из-за девки, дочери солдата Федора Зевакина. Прозевал тот свою дочку, что сама с Ванькой сбежала и к родителю родному возвращаться никак не хотела, а тот возьми да и напиши самому полицмейстеру,

---

\* Продолжение. Начало в № 4 2002 г.

обвинив дочкиного похитителя во всех смертных грехах. Может быть, дело и удалось бы замять как обычно, откупиться от назойливого солдата Зевакина, нанести ему подарков, десяток коробов, и опять все шито-крыто, гуляй Ванька дальше на белом свете, радуйся жизни, пользуйся ей до конца, до донышка. Да вот ведь закавыка, случилось на ту пору быть в Москве самому генерал-полицмейстеру Алексею Даниловичу Татищеву, мужу строгому и неподкупному, пожелавшему упечь Ваньку в Сибирь, а то и вовсе жизни лишить. Вот к нему в руки и был передан московский бывший сыщик и один из главных столичных воров, прозванный за дела его темные Каином. И как он ни крутился, какие услуги ни предлагал, но только генерал-полицмейстер вцепился в него крепко, от услуг Ванькиных отказывался, и выпускать его из острога не собирался. Ванька глянул через зарешеченное окошко, но ничего, кроме толстого ствола разросшегося лопуха, увидеть не мог. Татищев велел поместить его в холодный сырой погреб, где и было всего лишь небольшое окошечко возле самой земли, пролезть через которое могла лишь кошка, а солнце не попадало совсем. Кормили его лишь раз в день и то давали четвертинку каравая да кружку воды из колодца. Первые дни Ванька бился, кричал, что сообщит самому московскому губернатору Левашову, но ничего не помогало. Только позднее он понял: Татищев прямого подчинения от Левашова не имел и был направлен самой императрицей специально для розыска зачинщиков московских пожаров. Вот тогда Ванька загрустил по-настоящему и решил открыться перед генерал-полицмейстером во всех своих прегрешениях, и выдать бывших сотоварищей, с которыми совершил немало такого, за что сибирская ссылка могла показаться чуть ли ни наградой.

А, казалось бы, как все ладно и складно пошло, когда за одну ночь Ванька с товарищами мог иметь столько, сколько иной купец первой руки и за год не наживет. Где оно, то богатство? Пропито, в карты, в кости, в зернь проиграно. Раздарено бабам и девкам... Лучше и не вспоминать. Он, как тот лопух, цеплялся за всякого, кто оказывался рядом с ним, обирал, раздевал, грабил. Слава о нем шла не только по Москве, но и по ближним слободам, ажно до самой Макарьевской ярмарки докатилась. Везде его знали, уважали, слова супротив не говорили. Эх, и погулял же он за свою жизнь короткую, пошалил, поозорничал: будет что вспомнить, когда палач на плаху потянет... А в то, что лишат его буйной головы, Ванька уверился окончательно после одного из разговоров по душам с генерал-полицмейстером Татищевым. Тот, не скрывая иронии, когда Ванька пожаловался на плохую еду, ответил, мол, перед смертью ни к чему отменно кормить, дольше в земле не протухнет.

Не протухнет... Нет, он не мог представить себя мертвым, опускаемым в землю, насильно вырванным из жизни. Тот же лопух: как ни рви, ни корчуй, а хоть малый корешок останется, выбросит к солнышку новый побег, расправит мясистые листья, принарядится в цветы-колючки. Сколько их, таких лопушков, по земле раскидано, разбросано. И хоть коси их, хоть выкапывай, норовя под самый корешок подобраться, ан нет, не совладать человеку с настырным растением, никоим способом не справиться.

Давно ли Ванька в Москве появился, вывезенный по указу своего господина, купца гостиной сотни Петра Федоровича Филатьева, на двор к нему в услужение определенный. Взяли его, не спросясь, из родного села Иванова, отрешили от отца-матери, от братьев и сестер и оставили на господском дворе всякую работу работать, жить с чужими людьми в людской, из общего котла пищу хлебать.

С самого начала Ваньку невзлюбил конюх Леонтий, тощий мужик, с огненно-рыжей бородой и длинным крючковатым носом. Он шпынял парня по любому поводу, заставлял дважды переделывать ту же самую работу. Бывало, поручат тому двор подмести, а Леонтий нарочно коней во двор выведет, те всю землю копытами изроют, да еще по несколько куч каждый накладет. Ванька за совок и таскать конский навоз, за ворота выкинет, управится, только не тут-то было. Леонтий ему:

— Ты, сучий потрох, зачем улицу нашу поганишь? Тут тебе не деревня, мать твою, таскай в огород, — а для пушей убедительности еще и по загривку кулаком двинет, а кулак у него, ох, какой тяжелый.

А то метлу спрячет, на сеновал закинет. Ванька бегают, носится, ищет свой струмент, найти не может, обед на носу, работа не выполнена, а значит, и порки не миновать. Леонтий из конюшни выйдет, пальцем в него тычет, кричит:

— Чего, собачье отродье, не делаешь свою работу?

— Метла у меня, дядя Леонтий, пропала куда-то, — Ванька ему, — не видели случаем?

Конюх повернется, ни словечка не скажет, а вечером хозяин Петр Федорович тому самому Леонтию поручает Ваньку на конюшню свести да выпороть за нерадение вожжами хорошенько. А тому только подавай...

Терпел Ванька, терпел его издевательство над собой, да как-то его соседский портной, что тоже конюха того терпеть не мог, и присоветовал, как обидчику отомстить. Встал Ванька спозаранку, когда все спали еще и сторож у ворот посапывал, к забору привалившись, пробрался на конюшню, спер у ночевавшего там Леонтия сапоги и айда на базар. Там в суконном ряду первому встречному мужику продал их за два гривенника, накупил на радостях пряников печатных, орехов, иных лакомств, умял все прямо на базаре и обратно домой подался. Только во двор взошел, а Леонтий по земле босиком шлепает, и налетел на него петухом, свалил на землю и принялся пинать, колотить, что едва отобрали у него парня полуживого. А все дело в том оказалось, что кухарка, которая из всех самая первая встает и на базар за покупками к столу отправляется, Акси́нья, увидала там, как Ванька сапоги продавал, да все конюху и рассказала, как есть. Случилось по осени заболеть Леонтию, и хозяин решил, что то Ванька не иначе как ему в еду подсыпал зелья какого, и отправили конюха болезного в деревню до полного излечения, а более он уже не возвращался на двор к Филатьеву.

Вроде легче дышать стало Ваньке Осипову после отбытия конюха Леонтия, да только так с тех пор повелось: ежели что где пропадет, потеряется, тут же бегут его искать, обыск чинить, а для острастки, для послушания и попотчуют его кто кулаком, кто коромыслом, а тетка Глафира в него как-то раз утюгом горячим запустила за пропавшую подушку с ее кровати. Чего говорить, были кой-какие грешки на его, Ивановой совести, частенько чего из съестного из погребов или с кухни тащил, но более все напраслину возводили. Видать, не один он был у хозяина на руку нечист, чего за русским человеком испокон веку замечается, да только те воришки оказались не пойманы.

Затаил с тех самых пор Ванька великую обиду и на хозяина, и на дворовых его, поклялся отомстить черным делом всем им, когда только удобный случай выдастся. Клятву сам себе дал, да только как ее выполнить и не знает. На хозяйском дворе все, как есть, на виду: стоит в одном конце чихнуть, как с другого откликнутся, только остановился, задумался, о чем своем, а уже орут: «Чего встал, как столб стоеросовый? На конюшню под вожжи захотел?!» Долго он думал-соображал, чем бы своему хозяину и всем дворовым досадить можно...

Если удавалось Ваньке незаметно ускользнуть со двора, то нырял он в небольшую калитку, которая в сад вела, забирался на дерево и слушал там птичье пение, пока его кто ни хватится, звать-кричать ни начнет. И всех-то птиц он по голосам знал, различал их пение, каждую выделял. Более других ему нравилось, как малиновка утром ранним или на закате солнечном нежные трели выводила. Ничуть не хуже соловья будет. Уж так нежно, тонюсенько заливается, трель ведет, ажно слезы на глазах выступают, по душе, словно скребком кто дерет, нагар, злобу снимает. И за ласточками смотреть в поднебесье Ванька до смерти любил. Чиркнут крылышком по воздуху, хвостиком треугольным распишутся, выются, кружатся, такие немыслимые коленца выписывают, — залюбуешься; не заметишь, как час, а то и все два пробегут, и уже стемнеет, смеркнется, со двора кричат, аукают, с ног сбились — ищут его. И за те птичьи причуды доставалось Ваньке по первое число, но на второй год службы городской привык он к дранью, к порке, и шкура стала словно дубленая, следов кнута или батога почти не оставалось. Правда, вместо Леонтия поркой ведал другой мужик, не столь лютый. Он парня по жалости своей в полсилы драл. Но, все одно, злоба в Ваньке росла и копилась до поры до времени. И Филатьев даже рукой на него, похоже, махнул, во внимание его проказы не особо брал, ждал, когда возраст подойдет, чтоб с рук долой сбыть неслуха да в рекруты на царскую службу определить на долгих двадцать пять годиков. Но... иная судьба Ваньке, Осипову сыну, уготовлена была, отнюдь не служба ратная.